

...ибо Любовь, мой друг, как и Дух Святой,
живет и дышит там, где хочет.

Мишель Монтень, *из частной беседы*

Царапая старую побелку длинным перламутровым ногтем, Маринин палец в третий раз утопил черную кнопку звонка.

За высокой, роскошно обитой дверью послышались наконец торопливые шаркающие шаги.

Марина вздохнула, сдвинув рукав плаща, посмотрела на часы. Золотые стрелки сходились на двенадцати.

В двери продолжительно и глухо прохрустели замки, она приоткрылась ровно на столько, чтобы пропустить Марину:

— Прости, котеночек. Прощу.

Марина вошла, дверь с легким грохотом захлопнулась, открыв массивную фигуру Валентина. Виновато-снисходительно улыбаясь, он повернул серебристую головку замка и своими огромными белыми руками притянул к себе Марину:

— Mille pardons, ma chérie...

Судя по тому, как долго он не открывал, и по чуть слышному запаху кала, хранившегося в складках его темно-вишневого бархатного халата, Маринин звонок застал его в уборной.

Они поцеловались.

— С облегчением вас, — усмехнулась Марина, отстраняясь от его широкого породистого лица и осторожно проводя ногтем по шрамику на тщательно выбритом подбородке.

— Ты просто незаконнорожденная дочь Пинкертона, — шире улыбнулся он, бережно и властно забирая ее лицо в мягкие теплые ладони. — Как добралась? Как погода? Как дышится?

Улыбаясь и разглядывая его, Марина молчала.

Добралась она быстро — на по-полуденному неторопливом, пропахшем бензином и шофером такси, погода была мартовская, а дышалось в этой большой пыльной квартире всегда тяжело.

— Ты смотришь на меня глазами начинающего портретиста, — проговорил Валентин, нежно сдавливая громадными ладонями ее щеки. — Котик, тебе поздно менять профессию. Твой долг — выявлять таланты и повышать общий музыкальный уровень трудящихся прославленной фабрики, а не изучать черты распада физиономии стареющего дворянского отпрыска.

Он приблизился, заслоня лицом ложноампирный интерьер прихожей, и снова поцеловал ее.

У него были чувственные мягкие губы, превра-

щающиеся в сочетании с необычайно умелыми руками и феноменальным пенисом в убийственную триаду, базирующуюся на белом нестареющем теле, массивном и спокойном, как глыба каррарского мрамора.

— Интересно, ты бываешь когда-нибудь грустным? — спросила Марина, кладя сумку на телефонный столик и расстегивая плащ.

— Только когда Менухин предлагает мне совместное турне.

— Что, так не любишь?

— Наоборот. Жалею, что врожденный эгоцентризм не позволяет мне работать в ансамбле.

Едва Марина справилась с пуговицами и поясом, как властные руки легко сняли с нее плащ.

— А ты же выступал с Растропом.

— Не выступал, а репетировал. Работал.

— А мне говорили — выступал...

Он сочно рассмеялся, вешая плащ на массивную алтароподобную вешалку:

— Бред филармонийской шушеры. Если б я согласился тогда выступить, сейчас бы у меня было несколько другое выражение лица.

— Какое же? — усмехнулась Марина, глядя в позеленевшее от старости зеркало.

— Было бы меньше продольных морщин и больше поперечных. Победив свой эгоцентризм, я в меньшей степени походил бы на изможденного страхом сенатора времен Калигулы. В моем лице преоблада-

ли бы черты сократовского спокойствия и платоновской мудрости.

Сбросив сапожки, Марина поправляла перед зеркалом рассыпавшиеся по плечам волосы:

— Господи, сколько лишних слов...

Валентин обнял ее сзади, осторожно накрыв красиво прорисовывающиеся под свитером груди совковыми лопатами своих ладоней:

— Ну, понятно, понятно. Silentium. Не ты ли, апсара, нашептала этот перл дряхлеющему Тютчеву?

— Что такое? — улыбаясь, поморщилась Марина.

— Мысль изреченная есмь ложь.

— Может быть, — вздохнула она, наложив свои, кажущиеся крохотными, ладони на его. — Слушай, какой у тебя рост?

— А что? — перевел он свой взгляд в зеркало.

Он был выше ее на две головы.

— Просто.

— Рубль девяносто три, прелесть моя, — Валентин поцеловал ее в шею, и она увидела его лысеющую голову.

Повернувшись к нему, Марина протянула руки.

Они поцеловались.

Валентин привлек ее к себе, обнял и приподнял, как пушинку:

— Покормить тебя, котенок?

— После... — пробормотала она, чувствуя опьяняющую мощь его рук.

Он подхватил ее и понес через длинный коридор в спальню.

Обняв его за шею, Марина смотрела вверх.

Над головой проплыл, чуть не задев, чудовищный гибрид потемневшей бронзы и хрусталя, потянулось белое потолочное пространство, потом затрещали бамбуковые занавески, скрывающие полумрак.

Валентин бережно опустил Марину на разобранную двуспальную кровать.

— Котеночек...

Глухие зеленые шторы были приспущены, бледный мартовский свет проникал в спальню сквозь узкую щель.

Лежа на спине и расстегивая молнию на брюках, Марина разглядывала другого медно-хрустального монстра, грозно нависавшего над кроватью. Он был меньше, но внушительней первого.

Валентин присел рядом, помогая ей снять брюки:

— Адриатическая ящерка. Не ты ль окаменела тогда под шизоидным взглядом Горгоны?

Марина молча улыбнулась. В спальней она не умела шутить.

Громадные руки в мгновение содрали с нее свитер и колготки с трусиками.

Валентин привстал, халат на нем разошелся, закрыв полкомнаты, и бесшумно упал вниз на толстый персидский ковер.

Кровать мучительно скрипнула, белые руки оплели смуглое тело Марины.

У Валентина была широкая безволосая грудь с большими, почти женскими сосками, с двухкопеечной родинкой возле еле различимой левой ключицы.

— Котеночек...

Губы его, хищно раздвинув волосы, медленно вобрали в себя Маринину мочку, мощная рука ваятеля прошлась по грудям, животу и накрыла пах.

Ее колени дрогнули и разошлись, пропуская эту большую длань, источающую могущество и негу.

Через минуту Валентин уже лежал навзничь, а Марина, стоя на четвереньках, медленно садилась на его член, твердый, длинный и толстый, как сувенирная эстонская свеча за три девяности.

— Венера Покачивающаяся... прелесть... это ты святого Антония искушала...

Он шутил, сияясь улыбнуться, но его породистое лицо с этого момента начинало катастрофически терять свою породистость.

Марина жадно вглядывалась в него.

Притененное сумраком спальни, оно расплывалось, круглело, расползаясь на свежей арабской простыне.

Когда Марина опустилась и лобковые кости их встретились, на лицо Валентина сошло выражение полной беспомощности, чувственные губы стали просто пухлыми, глаза округлились, выбри-

тые до синевы щеки заалели, и на Марину доверчиво взглянул толстый мальчик, тот самый, что висит в деревянной треснутой рамке в гостиной над громадным концертным роялем.

Подождав мгновенье, Марина начала двигаться, уперевшись руками в свои смуглые бедра.

Валентин молча лежал, блуждая по ней невменяемым взором, руки его, вытянутые вдоль тела, бессильно шевелились.

Прямо над кроватью, на зеленовато-золотистом фоне старинных обоев, хранивших в своих буколических узорах смутный эротический подтекст, висел в глубокой серой раме этюд натурщицы кисти позднего Фалька.

Безликая женщина, искусно вылепленная сероголубым фоном, сидела на чем-то бледно-коричневом и мягком, поправляя беспальными руками густые волосы.

Ритмично двигаясь, Марина переводила взгляд с плавной фигуры на распластавшееся тело Валентина, в сотый раз убеждаясь в удивительном сходстве линий.

Оба они оказались беспомощны, женщина — перед кистью мастера, мужчина — перед смуглым подвижным телом, которое так легко и изящно показывается над ним в полумраке спальни.

Марина порывисто обняла его, припав губами к коричневому соску и стала двигаться резче.

Валентин застонал, обнял ее голову.

— Прелесть моя... сладость... девочка...

Его лицо совсем округлилось, глаза полуприкрылись, он тяжело дышал.

Марине нравилось целовать и покусывать его соски, чувствуя, как содрогается под ней беспомощная розовая глыба.

Мягкие округлые груди Марины касались его живота, она ощущала, насколько они прохладнее Валентинова тела.

Его руки вдруг ожили, сомкнулись за ее спиной.

Он застонал, делая неловкую попытку помочь ей в движении, но никакая сила, казалось, не в состоянии была оторвать эту махину от кровати.

Поняв его желание, Марина стала двигаться быстрее.

Часы в гостиной звучно пробили половину первого.

В тяжелом дыхании Валентина отчетливей проступила дрожь, он стонал, бормоча что-то, прижимая к себе Марину.

В его геркулесовых объятьях ей было труднее двигаться, груди плющились, губы покрывали гладкую кожу порывистыми поцелуями, каштановые, завивающиеся в кольца волосы подрагивали на смуглых плечах.

Он сжал ее сильнее.

Ей стало тяжело дышать.

— Милый... не раздави меня... — прошептала она

в круглый, поросший еле заметными волосками сосок.

Он разжал руки, но на простыне им больше не лежалось, — они стали конвульсивно трогать два сопряженных тела, гладить волосы Марины, касаться ее колен.

Дыхание его стало беспорядочным, хриплым, он подрагивал всем телом от каждого движения Марины.

Вскоре дрожь полностью овладела им. Марина пристально следила за его лицом.

Вдруг оно стало белым, слившись с простыней. Марина стремительно приподнялась, разъединяясь, отчего ее влагалище сочно чмокнуло. Соскочив с Валентина и наклонившись, она сжала рукой его огромный член, ловя губами бордовую головку.

— Ааааа... — замерший на мгновение Валентин застонал, столбоподобные ноги его мучительно согнулись в коленях.

Марина едва успела сжать одно из страусиных яиц громадной полиловевшей и подобравшейся мошонки, как в рот ей толкнулась теплая густая сперма.

Ритмично сжимая член, Марина впиалась губами в головку, жадно глотая прибывающую вкусную жидкость.

Мертвенно бледный Валентин вяло бился на простыне, беззвучно открывая рот, словно выброшенное на берег морское животное.